

ВВЕДЕНИЕ

Книга «Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда» — о том, как блокада Ленинграда обрела смыслы в советской культуре. Меня интересовало, как событие историческое, однажды совершившееся во времени и пространстве, становится событием дискурсивным и закрепляется в ткани исторического нарратива и так называемой «исторической памяти».

Главной гипотезой книги является предположение о том, что сформировавшийся в советской литературе соцреалистический канон predetermined репрезентацию блокады Ленинграда и современные представления об истории этого события. Под канонем в данном случае я понимаю корпус текстов, созданных с соблюдением особых правил описания советской реальности, задающих коллективную идентичность и легитимирующих социальные и политические отношения в советском обществе.

Книга состоит из трех разделов. Первый посвящен влиянию соцреализма на формирование канона в художественных и публицистических произведениях о блокаде. Второй — о том, как литературный канон проявлялся в советских исторических сочинениях об этом событии. Третий раздел посвящен тому, как сформированные в рамках советского литературного канона язык и форма рассказа о прошлом были восприняты общественным движением блокадников и инструментализированы средствами политик памяти внутри их организаций. Хронологически первые два раздела в основном описывают события советского времени, включая перестройку. Третий раздел преимущественно касается периода демократических реформ и первого десятилетия после перестройки.

Читатель быстро заметит, что особое место в книге уделено эпохе перестройки. Это не случайно. Анализ материала показал, что именно снятие цензурных запретов и демократические перемены

в политической жизни страны в конце 1980-х годов могли изменить основное русло исторической памяти в России и открыть возможность для новых версий прошлого. Следуя терминологии немецкого историка Райнхарта Козеллека, исторические перемены этого времени могли стать своего рода «переломным временем» (*Sattelzeit*), когда на смену одной системе языковых категорий приходит другая¹. Однако чем глубже я погружалась в исторические реалии перестройки, тем яснее становилось, что писать об исторической политике этого времени в отрыве от советского наследия невозможно, так как именно в нем содержится ключ к основным происходящим в эти годы изменениям. Перестройка дала богатый материал для анализа политики памяти этого периода и показала сильные и слабые стороны «соцреалистического» понимания истории блокады.

В книге я использую несколько ключевых теоретических концепций и терминов, которые стоит прояснить.

Первый из них — понятие исторической памяти. Начиная с исследований Пьера Нора и его проекта «Места памяти» 1984–1993 годов *коллективная память* стала одной из ключевых категорий для анализа процессов, произошедших в прошлом, но имеющих значение для настоящего². Отделив историю (как череду разнообразных и противоречивых событий) от памяти (как парадигмы, в рамках которой факты приобретают смысл и значение в глазах общества), Нора предложил оптику, позволяющую исследователю взглянуть на прошлое как на рассказ, сформированный во времени. На примере Франции Нора показал, что для современных обществ ценностью обладает не столько историческое событие, сколько приписываемое ему значение. В отличие от истории коллективная память о прошлом разборчива и избирательна. Она связана с коллективной (и часто — национальной) идентичностью, т.е. с тем, каким общество хочет видеть себя в зеркале истории. Не случайно поэтому, что чаще всего

¹ Koselleck R. *The Futures Past. On the Semantics of Historical Time*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

² Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция. Память. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.

прошлое героизируется. В этой перспективе советская история или история России — не исключение из правил, а скорее типический пример.

Героизация была и остается весьма распространенным и востребованным способом репрезентации прошлого во всем мире. В современном обществе она приобретает дополнительное значение, поскольку сама концепция государства-нации предполагает акцент на исключительности и возвеличивании истории и культуры своей страны¹. Не случайно эпос, фольклор и национальные герои вошли в мировой культурный обиход именно с расцветом национализма в XIX веке, предоставив благодатную почву, в том числе и для расистской политики гитлеровской Германии. Трагический опыт Второй мировой войны поставил эту традицию под сомнение. Послевоенный этический консенсус был достигнут в том числе и благодаря вытеснению национализма как идеологии на периферию политических идей. При этом память о преступлениях нацизма, и прежде всего о Холокосте, стала символом возникшей в конце XX века альтернативы национально-героическим историям Европы².

В Западной Европе постепенно, шаг за шагом, вызревала концепция ответственной памяти о войне, предотвращающей новые конфликты и предполагающей Холокост в качестве центральной модели отношения не только к военному прошлому, но и к остальным не менее болезненным преступлениям в истории человечества: работорговле, социальному неравенству, геноцидам и т.д.³ Военный героизм и романтика солдатского подвига, казалось, померкли в свете осознания трагедии и гибели огромного количества гражданского

¹ *Миллер А.* История понятия «нация» в России // Отечественные записки. 2012. № 1. <http://magazines.russ.ru/oz/2012/1/m22.html>.

² *Ассман А.* Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 74–96.

³ *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories* / Ed. by A. Assmann and S. Conrad. Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010; *O'Loughlin M., Charles M.* Fragments of Trauma and the Social Production of Suffering: Trauma, History, and Memory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2014.

населения. Из места доблести и славы война превратилась в катастрофу, в которой виновата не только страна-агрессор, но все страны мира, попустительствовавшие, скрывавшие и долгое время не считавшие важным обличать массовое уничтожение людей. На первый план вышла этическая парадигма гуманизма, где человеческая жизнь была признана наивысшей ценностью. В этом новом дискурсе Холокост уже перестал быть эмпирическим определением конкретного исторического явления, но стал обозначать несправедливости и безответственность государственной политики в самом широком смысле. Послевоенная гуманистическая этика не только поставила под сомнение историю государственных побед (в ряде западных стран, и в первую очередь в Германии, она рассматривается отныне с оглядкой на цену человеческой жизни), но также сформировала парадигму, при которой признание травмы, а не пафос победы, стало необходимым условием европейской интеграции и элементом «универсальной памяти человечества»¹. Не случайно практика публичных политических извинений политиков за совершенные в прошлом акты насилия и несправедливости, допущенные государствами в отношении разных групп населения, в том числе других государств, становится практикой международных отношений на пути к «космополитической морали»².

В отличие от Западной Европы советская модель репрезентации войны была предельно героизирована, и даже в годы «оттепели», когда у авторов появилось больше возможностей для описания войны, кардинального пересмотра этой концепции не произошло³. При этом нельзя сказать, что эта героизация прошлого, которой следовал СССР, не отвечала на вызовы времени: как и на Западе в 1960-е годы,

¹ *Assmann A. The Holocaust — a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community // Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories. P. 25–42.*

² *Daase C. Addressing Painful Memories: Apologies as a New Practice in International Relations // Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories. P. 28.*

³ *Копосов Н. Память строгого режима. История и политика России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.*

она апеллировала к идеалам антифашизма и ценности человеческой жизни. Однако в отличие от «аполитичного» гуманизма, к которому зывали демократически ориентированные силы Европы после Холокоста, «советская память о войне» была выражено политически ориентированной (она четко разделяла мир на сторонников и противников СССР, причисляя к антифашистам все дружественные КПСС силы) и трактовала гуманизм по-своему. В соответствии с этими представлениями любой человек является полноценным политическим субъектом, чья позиция или даже помыслы (за или против фашизма) могли быть основанием для причисления его к группе героев или предателей. Право на человеколюбие в первую очередь имел тот, кто сражался со злом, т.е. герои. Все остальные, включая тех, кто стремился сохранить нейтралитет или был исключен из конфликта, причислялись к пособникам врага. Отсюда, по-видимому, негативное отношение сталинского руководства к попавшим в плен советским военнопленным и угнанным в Германию советским гражданам. Кто не с нами — тот против нас. Именно поэтому в советском дискурсе была только политизированная фигура жертвы фашизма.

Концепт исторической травмы, заимствованный социальными дисциплинами из психоанализа, лежит в основе исторической политики в странах Западной Европы. Нередко он является объяснительной моделью для описания траектории развития исторической памяти в Европе¹. Согласно ей, люди и общности, пережившие в прошлом насилие, ставшие жертвами войны, геноцида или репрессивной политики, долгое время подавлявшие в себе эти переживания, должны получить право на рассказ о случившемся и возможность быть услышанными и понятыми. Такой подход основан на убеждении, что свободный рассказ о перенесенных страданиях позволяет жертвам насилия освободиться от довлеющего над ними прошлого

¹ *Alexander J.* On the Social Construction of Moral Universals: The „Holocaust“ from War Crime to Trauma Drama // *Alexander J. et al. (eds). Cultural Trauma and Collective Identity.* Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2004. P. 196–263; *O’Loughlin M., Charles M.* Fragments of Trauma and the Social Production of Suffering: Trauma, History, and Memory.

и предотвратить конфликты в обществе в будущем. Исторический опыт пострадавших и маргинализированных групп и личностей признается, таким образом, не менее важным, чем опыт и заслуги людей (или сообществ), избежавших травматических переживаний и оставивших героический след в национальной истории. Преодоление трагедий прошлого с помощью их исторической переработки (т.е. сопереживания пострадавшим, осмысления причин произошедшего, осознания ответственности, и, наконец, коммеморации) было противопоставлено политике замалчивания практик насилия. В этом смысле ответственная с точки зрения истории памяти национальная история должна включать в себя не только рассказы о победоносных войнах и государственных успехах, но содержать нарративы о репрессиях, социальном неравенстве, несправедливостях по отношению к «своим» меньшинствам и чужим народам. Однако на практике такой разворот репрезентативной парадигмы национальной истории в европейских странах далек от завершения¹.

В России внимание к «негативной истории» и разработка концепта исторической травмы возникли совсем недавно и почти не коснулись памяти о Великой Отечественной войне². Возможно, дело в том, что травматический опыт переживших войну и блокаду советских людей не играл заметной роли в коллективных представлениях об этих событиях, хотя и присутствовал в публичном пространстве³. Рассказы о смертях, потерях, неустроенности и пережитой

¹ *Асман А.* Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016; *Миллер А.* Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти. «Секьюритизация памяти»: историческая вина в руках политических антрепренеров // Гефтер. 29.04.2016. <http://gefeter.ru/archive/18391>.

² Среди исследований, написанных на российском материале и посвященных вопросам травмы, можно назвать следующие: Травма.пункты. М.: Новое литературное обозрение, 2009; *Подорога В.* Время после. Освенцим и ГУЛАГ. Мыслить абсолютное зло. М.: Логос, 2013; *Эткинд А.* Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

³ *Tumarkin N.* Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. Basic Books, 1994.

боли обычно включались в официальные советские нарративы для демонстрации жестокости врагов и как обратная сторона героизма. Невинные жертвы войны, в соответствии с советской версией прошлого, не были апатичными жертвами обстоятельств. Они понимались как активные участники исторического процесса: если могли, то они сражались, если у них не было такой возможности — делали все, что было в их силах, чтобы помочь «своим» и победить врага. Это касалось и тех, кто умер от голода в блокаду, и тех, кого каратели сжигали в белорусских деревнях. Таким образом, они не исключались из публичной памяти, но играли вполне определенную роль — жертв фашизма и наиболее пострадавших героев. В советских публичных репрезентациях о трагедии, как правило, говорилось в контексте преодолеваемых трудностей. История блокады Ленинграда не стала исключением из правила. При всей своей схожести «исходных данных» — огромное число погибших, состав пострадавших (в первую очередь гражданские лица) — она не стала «советским Холокостом». Я полагаю, это произошло потому, что, во-первых, в СССР не существовало подходящего языка рассказа об истории как трагедии. Описанные по-советски жертвы Холокоста немедленно превращались в героев-антифашистов. Во-вторых, в СССР, а затем и в России не существовало серьезных политических сил, заинтересованных в придании блокаде других смыслов. Традиция рассказа о войне в СССР предполагала вполне определенный модус в презентации: победа была важнее испытанных людьми ужасов.

Не только в СССР и России память о Холокосте вызывала непонимание и отторжение. Многие страны Восточной Европы демонстрируют свои героические пантеоны национальных героев и мучеников, игнорируя призывы европейских партнеров и соседей разобраться с собственной историей и взять ответственность за совершенные преступления¹. Яркий пример — Польша, в которой нарратив

¹ *Требст С.* «Какой такой ковер?»: Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы: попытка общего описания и категоризации // Империя и нация в зеркале исторической памяти. М.: Новое издательство, 2011. С. 142–181.

о войне так же предельно героизирован и построен вокруг рассказа о польских героях Варшавского восстания. Несмотря на настойчивые требования руководства объединенной Европы включить в польский национальный нарратив тему Холокоста, реальные попытки инкорпорирования этого знания выглядели до последнего времени весьма беспомощными. Польское общество настойчиво избегает разговоров о больной теме антисемитизма. Думается, что причина у этого явления та же, что и у России. Современный язык коммеморации в Польше не выработал категорий для рассказа о неприглядных событиях национальной истории. Существующая в польском национальном сознании «героическая матрица» отношения к прошлому, усиленная религиозными коннотациями, препятствует рассмотрению польских «не героев» как полноценных участников исторического прогресса. В результате право на травму признается только за достойными памяти национальными героями и их наследниками.

Еще одним принципиальным концептом книги является понятие соцреализма. Понимаемое изначально как литературное направление, это понятие — вслед за Борисом Гройсом и Евгением Добренко — стало трактоваться шире, как культурологический феномен, повлиявший не только на художественное осмысление советской реальности, но и на саму советскую повседневность, включая представления о прошлом. Размышляя о взаимодействии литературы и исторической памяти, Алейда Ассман использовала понятие «культурного текста»¹. Согласно Ассман, литература передает концепты культурной, национальной и религиозной идентичности настолько же, насколько коллективные ценности и нормы. Для советской культуры такими «культурными текстами» были романы соцреализма, оказавшие наиболее сильное влияние на советскую культуру послевоенного времени и во многом задавшие модус восприятия реальности (в том числе исторической).

¹ *Assman A. Was sind kulturelle Texte? // Literaturkanon, Medienereignis, kultureller Text: Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung / Ed. by A. Poltermann. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG, 1995. S. :*

Работая долгое время с устными свидетельствами и перечитав большое количество мемуаров, я заметила, что многие люди писали и думали о блокаде примерно в одних и тех же категориях. То же ощущение не оставляло меня и тогда, когда я читала произведения о блокаде известных советских авторов. Постепенно во мне окрепла уверенность, что все повторения и «общие места» в описании этого события совершенно не случайны и они несут в себе нечто большее, чем просто пересказ однотипных историй. Мои предположения подтвердились после знакомства с понятием литературного канона¹. Я предположила, что если рассматривать соцреализм как особую философскую и эстетическую систему, а соцреалистический канон как корпус текстов, задающих коллективную идентичность, легитимирующих социальные и политические отношения, то схожесть советских текстов о блокаде можно считать в большей или меньшей мере предопределенной. За счет повторения нарративной конструкции, т.е. системы внутренней организации текста, повлиявшей на появление тех или иных сюжетов, тем и эпизодов в произведении, читателю задавались смыслообразующие ориентиры, предопределяющие его отношение к описываемой реальности. Мои предположения еще более укрепились после знакомства с исследованием Катарины Кларк о советских соцреалистических романах². Концептуальность

¹ О теории канона в литературе и соцреализме: *Гронас М.* Диссенсус. Война за канон в американской академии 80–90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/gronas.html>; Соцреалистический канон: Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000; *Günther H.* Прощание с советским каноном // *Revue des études slaves*. 2001. Tome 73, fascicule 4: *La littérature soviétique aujourd'hui*. P. 713–771; *Socialist Realism Without Shores* / Ed. by Th. Lahusen, E. Dobrenko. Durham and London: Duke University Press, 1997.

² *Clark K.* *Soviet Novel: History as Ritual*. Chicago: Chicago University Press, 1981. Далее цитирую по американскому и русскому изданию (*Кларк К.* *Советский роман: История как ритуал*. Екатеринбург: Издательство Екатеринбургского университета, 2002). Необходимость цитировать по обоим изданиям обусловлена тем, что некоторые фрагменты перевода неточны — в этих случаях цитировалось американское издание.

ее работы заключается в том, что она описала главные элементы соцреализма, его «несущую конструкцию».

В основу размышлений о литературном каноне соцреализма Кларк поместила понятие ритуала, т.е. повторяющуюся из текста фабульную структуру (masterplot). Она писала: «Общей чертой всех советских романов оказывается их ритуальность: они повторяют основополагающий сюжет, в котором закодированы важнейшие категории культуры»¹. Руководствуясь структуралистскими идеями в анализе произведений, она вычленила в текстах соцреалистических романов основные элементы, которые в разной последовательности, но неизбежно встречались во всех «классических» романах соцреализма: «Мать» и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Цемент» Ф. Гладкова, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Хождение по мукам» и «Петр Первый» А. Толстого, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева. Кларк поясняла, что в романе, написанном в соответствии с канонem, фабульная структура проявляется в наиболее решающие моменты произведения, т.е. при завязке, в эпизодах развития действия, кульминации, развязке. В других случаях эта структура может лишь воздействовать, но не определять общую линию развития сюжета, символический ряд, т.е. проявляться лишь в некоторых формульных ситуациях. Однако обычно советский роман включал в себя все элементы фабулы. Наиболее наглядно Кларк продемонстрировала эту структуру в романе «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

В основе фабулы лежит противопоставление стихийного и сознательного, которую Кларк видит в числе наиболее значимых культурных кодов советской культуры, сравнивая его с бинарной оппозицией субъекта и объекта в немецкой культуре². Эту оппозицию можно обнаружить, например, в описании характеров героев произведения, увидеть в противостоянии протагониста природной стихии или

¹ Там же. С. 17.

² Там же. С. 27.

врагу. Обозначив фабульную рамку, Кларк предлагает взглянуть на развитие сюжета романа как на сказочную историю: «В литературе социалистического реализма „идея божественного спасения“ в виде марксистско-ленинского понимания истории достигается благодаря жестко заданным содержательным и формальным установкам и рассказывается как сказка. Это сказка о вопрошающем герое, который отправляется на поиски сознательности. По пути он встречается с обстоятельствами, которые проверяют его силу и самостоятельность, но в итоге герой достигает цели»¹.

В отличие от многочисленных положительных героев мировой литературы соцреалистический герой, по мнению Кларк, всегда имел две цели: одна касалась выполнения некоей общественной задачи, вторая — «разрешения внутреннего столкновения между стихийностью и сознательностью. С момента, когда публичные и частные цели сплаваются воедино, личный выбор героя приобретает характер исторической аллегории»². Помогает добиться сознательности главному герою старший наставник — обязательная фигура, ассоциирующаяся с партийным руководством страны. При этом патерналистское поведение наставника к протагонисту недвусмысленно указывало на характер закрепляемых в общественном сознании отношений. Достижение главным героем стадии абсолютной сознательности происходило благодаря инициации — прохождению протагонистом через тяжелые испытания, которые венчаются, как правило, счастливым концом и наступлением светлого будущего. Счастливый финал романа был предопределен фабулой. Даже в случае смерти героя общественная задача всегда была выполнена, а сам герой в этом случае обретал бессмертие в памяти потомков.

Каждый из выделенных Кларк элементов ритуально повторялся в любом произведении соцреализма безотносительно его содержания: будь это роман о колхозе или заводе, о войне, революции или работе научной лаборатории. Отдельные части фабульной схемы могли

¹ Clark K. *Soviet Novel: History as Ritual*. С. 262.

² Там же.

быть частично инкорпорированы в произведение, но в этом случае они не оказывали на него серьезного влияния. Лишь соединенные вместе в определенную структуру, они имели силу и значение. Кларк поясняла, что в отличие от «Морфологии» Владимира Проппа для соцреализма всегда была крайне важна последовательность в расположении основных элементов фабульной основы. При этом исключение из нее хотя бы нескольких элементов немедленно сказывалось на изменении смыслов и интерпретаций. Именно собранные вместе и расположенные особым образом элементы фабульной основы представляют собой устойчивую систему.

Система организации текста, привнесенная соцреализмом в вопросы репрезентации блокады в послевоенной литературе, сказалась и на историографии события. Созданные в советском литературном каноне рамки были обязательны и для исторических сочинений, формируя таким образом несколько отличающийся, но все же близкий к литературному канон исторических описаний блокады, и закрепляя особый стиль репрезентации советской истории в целом. Для этой системы я использую понятие «соцреалистического историзма», т.е. исторического нарратива, написанного по законам соцреалистического романа. Советская и постсоветская историография войны и блокады, такая разная в деталях, тем не менее умещалась в рамки смыслообразующей конструкции соцреализма и лучше других показывала потенциал канона в конструировании коллективных представлений и создании национальной идентичности. Как и советские романы 1930–1940-х годов, исторические сочинения о блокаде более позднего времени имели в своей основе нарративную конструкцию соцреализма в описании исторического сюжета. В них роль главного героя — стремящегося к сознательности, преодолевающего препятствия и испытания, — принадлежала, в зависимости от контекста, советским войскам, защитникам города или советскому народу в целом. Старший наставник, в лице коммунистической партии, помогал народу-протагонисту преодолевать преграды и трудности; стихийные силы — враги, природа, голод — мешали герою в выполнении его задания, но всегда терпели поражение. Счастливый конец знаменовал

победу добра над злом и озарял венец истории — социалистический рай: возрожденную страну, населенную благодарными потомками.

Соцреалистический историзм давал целый ряд преимуществ его адептам. Он не только доступно объяснял смысл случившегося в прошлом и создавал удобные рамки для осмысления настоящего, но отводил человеку ведущую роль в истории. Советский человек по умолчанию принадлежал к общности народа-героя, поэтому, даже претерпевая лишения или погибая, в глазах остальных членов сообщества и своих собственных он всегда побеждал. Это напоминает принцип беспроигрышной лотереи, где человеку, включенному в исторический нарратив, доставалась или только слава, или слава и лучшая жизнь. Соцреалистический историзм пропагандировал в людях активную жизненную позицию. Он вселял оптимизм и гордость, позволял чувствовать причастность к подвигам предков и надеяться на лучшее. И в этом смысле можно констатировать, что соцреалистический историзм не просто не умер в канун перестройки, но оказался успешным и востребованным проектом, отвечающим современным общественным запросам, под стать устойчивому спросу на сказки или голливудские фильмы. Другое дело, что соцреалистический историзм при всех его достоинствах лишал человека глубины взгляда на историю и современность, на все их сложности и противоречия. Он предполагает исключительно оптимистическое отношение к происходящим в мире и обществе процессам, тем самым повышая риск окружающих человечество опасностей. Адепты соцреалистического историзма полагают, что несчастья идут только на пользу герою — они делают его сильнее и неуязвимее. В рамках этой системы протагонист не ошибается, так как фигура старшего наставника является гарантом его правоты.

Наверное, в других странах, где соцреализм играл менее заметную роль, чем в СССР, восприятие прошлого было менее формализованным. Однако и в этом случае значение «сказочного» нарратива, полного героики и оптимизма в отношении своей национальной истории, оказывалось весьма востребованным. Подозреваю, что этому сильно способствовала массовая культура, связь которой с основами

соцреализма может стать важным и интересным исследовательским проектом на будущее.

Работая над этой книгой, я обращалась в первую очередь к текстовым документам — художественным произведениям авторов, статьям и историческим монографиям, мемуарам, оставляя за рамками исследования все другие репрезентации блокады, которые, несомненно, оказывали воздействие на коллективные представления о событии. Изобразительное искусство, архитектура и кино (и игровое, и документальное) обладают собственным специфическим набором средств и форм в репрезентации блокады¹. Многие из них создавались в рамках официального нарратива о блокаде, поэтому учитывали особенности *мастерплота*, о котором я пишу в контексте изучения текстовых документов. Например, я вижу это в игровом кино о блокаде. Однако анализ художественных средств и киноязыка, равно как и языка архитектуры, скульптуры и музыки, требует иного, чем я располагаю, инструментария и исследовательского опыта. Поэтому мой отказ от всеобъемлющего взгляда на трагическое наследие блокады под углом соцреализма обусловлен спецификой моего понимания этого явления и осознанием того, что архитектура, изобразительное искусство и кино обладают уникальной логикой в построении нарративов о прошлом, даже если они испытывают на себе большое влияние текстовых источников.

¹ См., например: *Арлаускайте Н.* «Пройдемте, товарищи, быстрее!»: режимы визуальности для блокадной повседневности // Блокадные нарративы: Сборник статей. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 75–102; *Русинова О.* Долговечные камня и бронзы: образы блокады в монументальных ансамблях Ленинграда // Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества. М.: Новое издательство, 2006. С. 355–364.